



**А. Н. БЕНУА**

**<«Керенский производит  
необычайно возбуждающее впечатление...  
Но спокойно с таким человеком  
едва ли можно что-либо обсудить»>**

*Воскресенье, 5/18 марта.*

Все это время я не переставая ищу глазами того, кто меня более всего интересует... Где же Керенский?! Наконец я спрашиваю о том Терещенко. «Да вот он — там, под колоннами», — указывает он мне на «очень молодого человека», беседующего с Гучковым, сидя на скамейке для сторожей у дверей в зал, и я узнаю в нем того беспокойного, стремительного «юношу», который уже не раз за прошедшие три четверти часа пронесился мимо меня и которого я принимал за какого-то чрезмерно усердствующего писаришку. Я не откладывая направляюсь к нему, чтоб лучше его разглядеть, но в это время он срывается с места, расталкивает и огибает группы, прямо подбегает ко мне с протянутой рукой и быстро-быстро говорит: «Здравствуйте, я — Керенский, пойдёмте, здесь невозможно говорить!» Вероятно, на меня ему указал Горький<sup>1</sup> или Гучков в какой-то не замеченный мной момент. Пожав, все с той же поспешностью, руки остальных, он как-то сбивает нас в одну кучу и почти бегом проводит нас через три комнаты в отведенную ему невзрачную комнату в одно окно — имеющую вид не то приемной, не то лакейской. С нами в одной куче, кроме меня, Шаляпина, Неклюдова<sup>2</sup> и Львова<sup>3</sup> (Горький опять куда-то исчез), оказывается совершенно нам незнакомый и до тех пор не замеченный человек; это близкий приятель Керенского — инженер П. М. Макаров<sup>4</sup>. Не успели мы рассесться — частью на двух креслах, частью на боковом деревянном диване, а Керенский за невзрачным письменным столом, — как последний принялся говорить, и почти сразу разговор принял какой-то обостренный характер и переходит в спор. Создается атмосфера, напоминающая безумные главы в романах Достоевского.

От природы уже испитое лицо Керенского сегодня показалось мне смертельно бледным. Совершенно ясно, что этот человек уже много ночей совсем не спал. Выражение лица кислое — но ему это вообще свойственно, он, видимо, очень редко улыбается, пожалуй, никогда не смеется. На нем черная, застегнутая до самого ворота тужурка, что придает [ему] несколько аскетический, но и очень деловой вид. Говорит он громко, моментами крикливо, высоким фальцетом, с головокружительной стремительностью и с легким пришепетыванием (происходящим от поджима нижней губы). Изредка внезапно среди фразы он останавливается, кладет голову на ладонь, закрывает глаза, точно засыпает или впадает в обморочное состояние, но затем снова пускается вскачь, продолжая начатую и оборванную на полуслове фразу. После только что нами отведенной бездари и просто российской вялости Керенский производит необычайно возбуждающее впечатление, и определенно ощущается талант, сила воли и какая-то «бдительность». О да! Это прирожденный диктатор! Но спокойно с таким человеком едва ли можно что-либо обсудить, и постепенно наша беседа сразу переходит в спор — тем более что Н. Львов с момента входа в комнату Керенского стал неузнаваемым. Из ласкового, утрированно-вежливого джентльмена он превратился в какого-то петуха, злобствующего и пробующего наскочить то с одной, то с другой стороны на противника. Видимо, он в своих дворянских чувствах *infiniment offusque*<sup>5</sup>, что какой-то «мальчишка», *un petit roturier de rien du tout*<sup>6</sup>, вдруг позволяет себе им «распоряжаться».

Львов сразу стал отказываться от своего только что полученного поста, после того, что Керенский, уже посетивший сегодня Зимний дворец для решения, годится ли дворец как помещение для Учредительного собрания (он решил, что не годится), поручил дальнейшее наблюдение за дворцом Макарову<sup>7</sup>, не потрудившись посоветаться с ним, Львовым, об этом. Бедный Львов, запинаясь от волнения и возмущения, это ему и поставил на вид и объявил о своем отказе от поста. На это Керенский, повысив тон, заявил, что Львов не может отказаться, и тут Львов стал кричать: «Как так! Не могу? Кто может запретить? Дайте папиросочку. Да вот я и отказываюсь. Я отказываюсь, и баста! Никто в мире, и менее всего вы, [не] может мне в этом препятствовать!»

И действительно, остается необъяснимым, почему не только Зимний дворец, но и все дела Министерства двора оказались вдруг в ведении Керенского. Разве только потому, что он уже на пути к диктаторству? Неклюдов мимоходом шепнул мне: «О! Он поразительно

талантлив, он единственный из них из всех (намекая на министров), который что-нибудь делает!» И вот поэтому Керенский и на пути к диктатуре. Остальные как работники никуда не годятся, и естественно, что вся работа должна фатально сосредоточиться в его руках!! При этом я не могу упрекнуть Керенского в определенной и оскорбительной бестактности. Лишь два раза во время нашей беседы, длившейся больше часа, он доходил до тех визгливых, «начальственных» тонов, которые выдают потерю самообладания. Первый раз — когда Львов капризно усомнился в том, хватит ли у правительства достаточно авторитета, чтоб провести необходимые меры. Тут Керенский с патетическим негодованием, а la Мирабо, объявил, что «у правительства, созданного волей народа», не может не быть авторитета. А второй раз будущий (или начинающий уже) диктатор прикрикнул на собственного же своего ставленника, Макарова (это после ухода разобитенного Львова), за то, что Макаров имел неосторожность сказать о себе: «Я случайно оказался здесь — и вот Александр Федорович попросил меня ему помочь при осмотре Зимнего дворца». Это дало повод Керенскому воззвать к тому, что пора-де нам, русским интеллигентам, «освободиться от этой обывательской привычки говорить необдуманные вещи, да еще при обсуждении государственных дел!» И тут же (специально «для нас») он изложил свой взгляд на свою личную миссию. Он-де будет всегда серьезно относиться ко всякой задаче и уже никогда не допустит, чтоб случайность руководила его поступками\*, о чем внушительно было заявлено Керенским. Остается надеяться, что выбор Макарова удачен и, что, в частности, нашей группе художников он будет полезен. Львов же, выйдя из «кабинета Керенского», сразу пошел к князю Львову и попросил освободить себя от комиссарства. (Именно этого и желал Керенский). Не могу скрыть от себя, что во всем поведении, во всей манере быть и в разговорах Керенского много наигрыша, «каботинажа», но актер он, во всяком случае, неплохой. Кроме того, я думаю, что известный каботинаж, при подлинном уме и прозорливости, вещь для государственного деятеля не столь уж и плохая...

Из дальнейшей беседы выяснилось, что Керенский нашел Зимний дворец в образцовом порядке, что Царскосельский дворец (который он тоже уже успел посетить) он поставил под надежную охрану и что

---

\* И как раз тут не обошлось именно без случайности. Никто никогда об этом Макарове ничего не слышал. Позже я узнал, что он был вхож к Мережковским и даже дружил с ними, а обязан он был своим назначением личным отношениям с Керенским и каким-то «партийным заслугам» (он кого-то укрывал, спасал).

вообще приступил к урегулированию всей деятельности по бывшему Министерству двора. Ясно, что наше (вернее, «Гуревича<sup>8</sup>») пожелание о сформировании какой-то специальной милиции запоздало. Это было решено сообща с Керенским, и он тотчас послал кого-то «перехватить» нашу бумажку — до подписания ее князем Львовым. Оказалось, что она уже подписана (очевидно, ее успели «подсунуть» князю), но Керенский, получив этот «документ», без всяких разговоров сунул его себе в карман. Вообще же, к нашему выступлению он отнесся «с величайшей благодарностью» и высказал разные общие пожелания успеха. Для него [это] действительно козырь, заключающийся в том, что он может как бы опереться на целую группу лиц, пользующихся авторитетом в данной области. И все же что именно он от нас ждет, он так и не высказал, а самая наша беседа оборвалась внезапно после того, как в дверях появился какой-то курьер, вызвавший Керенского в Совет. Стремительно собрав разложенные перед собой бумаги, Керенский сорвался с кресла и, ни с кем не прощившись, ринулся вон из комнаты...

<...> Должен сознаться, что меня пленит даже его столь, казалось бы, неказистая внешность, кисловатое выражение лица, бледность, что-то напоминающее не то иезуита или ксендза, не то... апаша. Именно такие люди, пусть лукавые, но умные, талантливые люди, одержимые бешеной энергией, а не «профессора» вроде Милюкова, или «кристально чистые» джентльмены вроде Н. Львова, или изящные монденные<sup>9</sup> англомены вроде Терещенко, могут сейчас сделать нечто действительно великое. Уверен, что и в главном вопросе всего настоящего момента, в вопросе о войне, Керенский поведет ту линию, которая сквозила уже в его думских речах. Мне очень захотелось быть в ближайшем контакте с ним. И ему я бы мог быть полезен. <...>

Те же наши дамы, с самой моей Акицей<sup>10</sup> во главе, пребывали в это время (апрель, май) в каком-то экстазе от Керенского, видя в нем чуть ли не сошедшего с неба ангела — и именно ангела мира. Энтузиазм этот разделялся и нашими кухонными дамами. Я помню, как в полушутку Дуню, Мотю, Катю и самое кухарку Веру Григорьевну наши девочки вопрошали: «Кто наш спаситель?» и те с восторгом все в один голос отвечали: «Керенский!» Кульминационного пункта этот основанный на недоразумении культ достиг после того, что и Анна Карловна, и наши дочери побывали на памятном митинге в Мариинском театре, когда Александр Федорович, поднявшись в одной из литературных, ближайших к сцене лож, возгласил: «Протянем же руку народам поверх голов их

правительств!» — Казалось, что имеет он в виду не только союзные народы, но и немецкий народ и как бы идет на «мир во что бы то ни стало». — Напротив, пространная и тусклая речь Милюкова, тогда же доказывавшего необходимость довести борьбу до победного конца, вызвала негодование и даже род отчаяния. Очень скоро после того Павел Николаевич, видя общее неприятие его политики (ныне, на расстоянии и особенно в отношении краеугольного вопроса о войне, [видится, что] позиция Милюкова, в сущности, мало чем отличалась от позиции Керенского), счел нужным выйти в отставку, что было встречено у нас с каким-то вздохом облегчения, — мол, наконец-то главная помеха миру устранена. Однако как раз в этот же момент возобновилась с небывалой силой общественная пропаганда за продолжение войны. Всюду были расклеены гигантские плакаты с призывом жертвовать на военный Заем Свободы (у Публичной библиотеки такой плакат в виде знамени покрывал всю высоту здания), а по Невскому разъезжали телеги и грузовики, с которых визгливые дамские голоса приглашали подписываться на этот заем или жертвовать на какие-то военные нужды. На одной из этих повозок я узнал Е. С. Кругликову<sup>11</sup>. Тогда же я застал на углу Среднего проспекта и 8-й линии художника Чехонина<sup>12</sup>, ораторствующего перед небольшой кучкой слушателей все на ту же тему и взывающего к подписке на заем. «Буржуазия» продолжала недооценивать опасность положения и все дальше залезала в западню, расставленную ей судьбой, — на радость тех, кто поклялся ее уничтожить вконец. Какой-то речью разразился у Мариинского дворца и наш полукузен Саша Зарудный (ставший при Временном правительстве министром юстиции). Постепенно стала выясняться и настоящая позиция Керенского. О, ужас! И он не только был, вне всякого сомнения, за продолжение войны, но он сам себя назначил военным диктатором-министром и отправился на фронт «подымать дух солдат» и готовить наступление, долженствовавшее смести одним взмахом всякое сопротивление немцев!

